

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Лидия Чарская
**КНЯЖНА
ДЖАВАХА**



Лидия Алексеевна Чарская
Княжна Джаваха
Серия «Школьная библиотека (Детская литература)»

Текст книги предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6601639
Княжна Джаваха [вступ. ст. Д. Шеварова]: Олимп-Бизнес; Москва; 2007
ISBN 978-5-08-004199-0

Аннотация

Героиня повести известной писательницы начала XX века Лидии Чарской – девочка-сирота. Много невзгод выпало на ее долю. Эта книга – о настоящей дружбе, верности, чести, о трогательной и нежной привязанности.

Для среднего школьного возраста.

Содержание

Жила-была фея	5
Княжна Джаваха	9
Часть I	11
Глава 1	11
Глава 2	16
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Лидия Алексеевна Чарская
Княжна Джаваха
Повесть



Лидия Чарская
1875 - 1937

Жила-была фея

От сказок оторвали нас выстрелы кронштадтских матросов... Много пришлось перенести за дорогу: и голод, и холод, и нужно было удивляться, с каким геройством переносили все это русские девочки...

Из сочинений, написанных в 1925 году в гимназии чешского городка Моравска Тшебова детьми-беженцами из России.

Ее книги читали при свече, керосинке, при пляшущем огне буржуйки, белыми ночами у раскрытого окна или на скамейке под липами. Над этими книгами счастливо забывались юные сестры милосердия в санитарных поездах Первой мировой войны. Над ними плакали русские изгнанники, увозившие книги своего детства в Константинополь, Прагу, Белград и Париж. Ветхие томики книжного товарищества Вольфа ленинградские подростки прятали на заветных полках, заворачивая в советские газеты.

«Записки гимназистки», «Княжна Джаваха», «Смелая жизнь»... До революции это были просто книги, они нравились двенадцатилетним девочкам и не нравились многим взрослым. Критики их ругали, издатели наживали на них свои барыши... Но когда все сломалось – империя, границы, железные дороги, банки, армия, весь быт, – эти книги стали чем-то особенным для всех, кому удалось их сохранить.

И не только потому, что их больше не издавали и они стали редкостью. Жизнь, отразившаяся в этих книгах, – вот что исчезло как дым. Остались только эти страницы – как частица утраченного детского рая, как последнее свидетельство о том, что он был...

... Детская душа в наши дни напоминает полуразрушенный дом, в котором уцелело только несколько жилых помещений, а все остальное разрушено, измято и сломано. Не будем поэтому обольщаться внешним видом, беспечной веселостью наших детей, ибо в них надорваны основные их силы...

Из статьи проф. В. Зеньковского «Детская душа в наши дни», 1925 г.

Моей бабушке имя Чарской напоминает о тихом вечере в приморском городе, когда ее мама, моя прабабушка, была молодой, красивой и читала вслух новую книжку... А на календаре был шестнадцатый год.

Когда через семьдесят лет книги Чарской разрешили снова издавать, а дети вновь стали ими зачитываться, строгие критики опять поморщились: зачем нашим современным детям эти гимназические страдания, клятвы да целование рук? К счастью, у детей свой взгляд на то, что устарело, а что нет. В детских библиотеках книги Чарской почти всегда на руках. Взрослым же, как и сто лет назад, трудно понять, как притягательна в двенадцать лет эта книжная жизнь, где черное – черно, а белое – белоснежно и у короля – доброе сердце.

... Лежал король в постели и думал: «Как хорошо сознавать, что ты можешь делать добро несчастным: это лучшая радость королей...»

Л. Чарская

Она родилась 19 января 1875 года. Чарской она станет через много лет, когда будет играть в Александринском театре и возьмет этот театральный псевдоним как часть того романтического образа, который пыталась создавать на сцене. А пока она была просто Лидочкой Вороновой.

Лидия Воронова с медалью окончила Павловский институт благородных девиц. Первая повесть родилась из ее институтских дневников. В 1902 году публикация «Записок

институтки» в журнале «Задушевное слово» принесла Лиде неожиданную славу. Последовали переводы на европейские языки. Вскоре была учреждена стипендия для гимназисток имени Лидии Чарской. Молодая писательница стала кумиром подростков. Особенную привязанность и доверие к ней испытывали девочки. Она казалась им феей, исполнительницей желаний. Ее слава в 1910-е годы была сравнима, наверное, лишь со славой Веры Холодной. Сотни и тысячи писем шли к ней в Петербург, в дом на улице Разъезжей.

Герои Чарской влюблялись, прятали слезы в подушку, много мечтали, много ахали и часто падали в обморок. А взрослые переживали смуты, войны, разгоны Думы, царские манифесты и разгул терроризма, они читали по утрам «сводки с театра военных действий». Какое дело им было до Чарской с ее «кукольными» страстями? Нет, она их только раздражала своей сентиментальностью, трогательностью и, главное, несвоевременностью всех этих тонких и нежных чувств. Даже такие пронизательные критики, как Корней Чуковский, писали о Чарской лишь в насмешливом тоне.

Никто из критиков не увидел в прозе Чарской, безусловно слабой и беспомощной рядом с Чеховым и Толстым, ее редкого достоинства – эмоционального тепла, столь необходимого детям в неуютные переломные эпохи.

Если бы взрослые знали, что ждет впереди маленьких читателей Чарской... Быть может, именно Чарская продлила детство многим мальчикам и девочкам десятых – двадцатых годов XX столетия. Но могла ли она укрепить их сердце, волю, научить терпению и мужеству?

Послушаем девочку тридцатых годов, в сорок первом она со школьной скамьи ушла на фронт, а потом написала ставшие знаменитыми строки:

Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне...

Юлия Друнина вспоминала о книгах Чарской:

«Уже взрослой я прочитала о ней очень остроумную и ядовитую статью К. Чуковского. Вроде и возразить что-либо Корнею Ивановичу трудно... Упреки справедливы. И все-таки дважды два не всегда четыре. Есть, по-видимому, в Чарской, в ее восторженных юных героинях нечто такое – светлое, благородное, чистое, – что... воспитывает самые высокие понятия о дружбе, верности и чести... В сорок первом в военкомат меня привел не только Павел Корчагин, но и княжна Джаваха – героиня Лидии Чарской...»

... Берегите королеву... Не дайте пролиться более двух слезинок из прекрасных глаз.

Л. Чарская

Ошеломляющий успех мало что изменил в жизни Лидии Вороновой, теперь уже в замужестве Чуриловой. Она по-прежнему считала своим призванием не литературу, а театр. Старательно играла второстепенные роли. Кроме того, основной доход книги приносили издателям, а не автору. За переиздания Чарской вовсе ничего не платили. Первый муж Лидии Алексеевны, Борис Чурилов, погиб на германском фронте, надо было одной растить сына. Богатых родственников не было, надеяться она могла лишь на себя, на свой талант и трудолюбие.

Катастрофа 1917 года и Гражданской войны кроме всех известных последствий поставила крест на детской литературе как словесности особой бережности, чувствительности и нежности. Последняя публикация Чарской, повесть «Мотылек», так и осталась неоконченной, журнал «Задушевное слово» закрылся в 1918 году. Мотылек сгорел в пламени костра.

Лидия Алексеевна разделила судьбу своих маленьких читателей. Голод, нищета, унижения – все было. Корней Чуковский, бывший столь непримиримым к ее творчеству, помог ей получить переводы и заработать кое-что на хлеб.

Можно было надеяться, что с прекращением хаоса и братоубийства жизнь наладится, вернется необходимость в детских книжках и журналах. Так в конце концов и случилось, но Чарской эти годы принесли еще больше горя.

С первых лет советской власти ей запрещено было печататься и под собственным именем, и пользоваться псевдонимом, принесшим ей славу. Четыре тоненькие книжки для малышей, которые ей удалось издать в 1920-е годы, вышли под убогим мужским псевдонимом Н. Иванов. Она жила на маленькую актерскую пенсию, тяжело болела. Но в это же время ее книги, изданные до революции, находили новых преданных читателей, ей вновь писали письма, а библиотекари вынуждены были докладывать «наверх», что книги Чарской остаются в числе самых популярных у детей.

И вот тогда чиновниками Наркомпроса было решено изъять все книги Чарской из библиотек, а в школах провести публичные суды над ней. Тогда это были популярные пропагандистские акции, призванные развенчивать былых кумиров. В школах судили Евгения Онегина, Печорина, героев Тургенева... Чарскую судили вместе с литературными персонажами, громили в газетах, поносили с трибун... Не сажали в тюрьму, не ссылали, но почти двадцать лет, до своей смерти в 1937 году, она прожила в обстановке поношений, запретов, явной и скрытой враждебности.

Давно это было, но отчего-то даже писать об этом страшно и стыдно. И когда я слышу о любимой нами шведской писательнице Астрид Линдгрэн, узнаю о новых свидетельствах того, каким обожанием и почетом окружена сказочница у себя на родине, я вспоминаю о судьбе Лидии Алексеевны Чарской. Ведь она могла быть нашей Астрид Линдгрэн. А мы...

Но были люди, не оставившие в те тяжкие годы Лидию Алексеевну. Соседские девочки тайком приносили ей что-нибудь поесть. Юноша, читавший Чарскую еще в детстве, не побоялся помогать своей любимой писательнице, а через несколько лет стал ее мужем. Увы, мы не знаем ни имени его, ни дальнейшей судьбы. Сын Лидии Алексеевны от первого брака, Юрий Чурилов, стал военным и в тридцатые годы служил на Дальнем Востоке (по другим сведениям, он погиб еще в Гражданскую). Была ли у него семья, дети – ничего не знаем. Стыдно...

Добрая фея, помоги мне стать счастливым королем счастливого народа...

Л. Чарская

О послереволюционных годах жизни Чарской осталось всего несколько свидетельств. Вспоминает Вера Исааковна Адуева: «В 27-м году я переехала в Ленинград. Обедала в столовке для композиторов и писателей – она помещалась на Невском, недалеко от вокзала, во дворе кинотеатра „Колизей“. Туда ходили примерно одни и те же люди. Заходила и какая-то тихая низенькая старушка, вся в черном.

И однажды мне сказали: „Знаете ли, кто это? Лидия Чарская!“ Я даже не представляла себе, что она еще жива...»

«Старушке» было тогда пятьдесят два года.

Петербургский писатель Владимир Бахтин записал воспоминания Нины Николаевны Сиверкиной. В двадцатые годы она была девочкой-подростком.

«... Жила Лидия Алексеевна в крохотной двухкомнатной квартирке по черному ходу, дверь с лестницы открывалась прямо в кухню. В этом доме Чарская жила давно, но прежде – на втором этаже, по парадной лестнице. Она очень бедствовала. В квартире ничего не было, стены пустые.

Чарская давала детям читать свои произведения – но не книги, а рукописи. Книг никаких в квартире не сохранилось, в том числе и собственных.

Была она очень худая, лицо просто серое. Одевалась по-старинному: длинное платье и длинное серое пальто, которое служило ей и зимой, и весной, и осенью. Выглядела и для тридцать шестого года необычно, люди на нее оглядывались. Человек из другого мира – так она воспринималась. Была религиозна, ходила в церковь, по-видимому в Никольский собор. А по характеру – гордая. И вместе с тем – человек живой, с чувством юмора. И не хныкала, несмотря на отчаянное положение. Изредка ей удавалось подработать – в театре в качестве статистки, когда требовался такой типаж...»

В архиве поэтессы Елизаветы Полонской (в двадцатые годы она была сотрудницей пролетарского женского журнала) сохранилось одно из писем Лидии Алексеевны.

«Дорогая Елизавета Григорьевна! <...> Оказывается, моя вещица не потеряна, и товарищ Материна обещала мне к лету напечатать ее. Но, увы, отдельным изданием – нельзя, к моему большому сожалению. Вероятно, пойдет в журнале на детской странице. Хотя бы к лету напечатали, а то я, по всей вероятности, не переживу осени и не увижу в печати моей любимой вещицы.

Вчера у товарища Маториной было заседание, я искала Вас... Хотелось еще раз попросить переговорить с товарищем Лаврениным... Может быть, он устроит мне какое-нибудь пособие. А то я третий месяц не плачу за квартиру... и боюсь последствий. Голодать я уже привыкла, но остаться без крова двум больным – мужу и мне – ужасно...

Простите, что беспокою Вас... Каждый день мне дорог. Вы поймете меня...»

Она умерла 18 марта 1937 года.

В журнале «Нева» я прочитал недавно, что скромная могила Лидии Чарской на Смоленском кладбище не забыта. Кто-то ухаживает за ней, приносит цветы.

Простите нас, Лидия Алексеевна...

Дмитрий Шеваров

Княжна Джаваха





Часть I На Кавказе

Глава 1 Первые воспоминания. Хаджи-Магомет. Черная роза



Я грузинка. Мое имя Нина – княжна Нина Джаваха-оглы-Джамата. Род князей Джамата – славный род; он известен всему Кавказу, от Риона и Куры до Каспийского моря и Дагестанских гор.

Я родилась в Гори, чюдном, улыбающемся Гори, одном из самых живописных и прелестных уголков Кавказа, на берегах изумрудной реки Куры.

Гори лежит в самом сердце Грузии, в прелестной долине, нарядный и пленительный со своими развесистыми чинарами, вековыми липами, мохнатыми каштанами и розовыми кустами, наполняющими воздух пряным, одуряющим запахом красных и белых цветов. А кругом Гори – развалины башен и крепостей, армянские и грузинские кладбища, дополняющие картину, отдающую чудесным и таинственным преданием старины...

Вдали синеют очертания гор, белеют перловым туманом¹ могучие, недоступные вершины Кавказа – Эльбрус и Казбек, над которыми парят гордые сыны Востока – гигантские серые орлы...

Мои предки – герои, сражавшиеся и павшие за честь и свободу своей родины.

Еще недавно Кавказ дрожал от пушечных выстрелов и всюду раздавались стоны раненых. Там шла непрерывная война с полудикими горцами², делавшими постоянные набеги на мирных жителей из недр своих недоступных гор.

Тихие зеленые долины Грузии плакали кровавыми слезами...

Во главе горцев стоял храбрый вождь Шамиль, одним движением глаз рассылавший сотни и тысячи своих джигитов в христианские селения... Сколько горя, слез и разорения причиняли эти набеги! Сколько плачущих жен, сестер и матерей было в Грузии...

Но вот явились русские и вместе с нашими воинами покорили Кавказ. Прекратились набеги, скрылись враги, и обессиленная войною страна вздохнула свободно...

¹ ... белеют перловым туманом... – то есть белым, жемчужным (от фр. perle – жемчуг).

² Там шла непрерывная война с полудикими горцами... – Имеется в виду Кавказская война 1817–1864 гг. между Российской империей и народами Северного Кавказа, завершившаяся их присоединением к России.

Между русскими вождями, смело выступившими на грозный бой с Шамилем, был и мой дед, старый князь Михаил Джаваха, и его сыновья – смелые и храбрые, как горные орлы...

Когда отец рассказывал мне подробности этой ужасной войны, унесшей за собою столько храбрых, мое сердце билось и замирало, словно желая вырваться из груди...

Я жалела в такие минуты, что родилась слишком поздно, что не могла скакать с развевающимся в руках белым знаменем среди горсти храбрецов по узким тропинкам Дагестана, повисшим над страшными стремнинами...

Во мне сказывалась южная, горячая кровь моей матери.

Мама моя была простая джигитка из аула Бестуди... В ауле этом поднялось восстание, и мой отец, тогда еще совсем молодой офицер, был послан с казачьей сотней усмирять его.

Восстание усмирили, но отец мой не скоро уехал из аула...

Там, в сакле старого Хаджи-Магомета, он встретил его дочку – красавицу Марию...

Черные очи и горные песни хорошенькой татарки покорили отца, и он увез Марию в Грузию, где находился его полк.

Там она приняла христианскую веру, против желания разгневанного старика Магомета, и вышла замуж за русского офицера.

Старый татарин долго не мог простить этого поступка своей дочери...

Я начинаю помнить маму очень, очень рано. Когда я ложилась в кровать, она присаживалась на край ее и пела песни с печальными словами и грустным мотивом. Она хорошо пела, моя бедная красавица деда³!

И голос у нее был нежный и бархатный, как будто нарочно созданный для таких печальных песен... Да и вся она была такая нежная и тихая, с большими грустными черными глазами и длинными косами до пят. Когда она улыбалась, казалось, улыбалось небо...

Я обожала ее улыбки, как обожала ее песни... Одну из них я отлично помню. В ней говорилось о черной розе, выросшей на краю пропасти в одном из ущелий Дагестана... Порывом ветра пышную дикую розу унесло в зеленую долину... И роза загрустила и зачахла вдали от своей милой родины... Слабея и умирая, она тихо молила горный ветерок отнести ее привет в горы... Несложная песня с простыми словами и еще более простым мотивом, но я обожала эту песню, потому что ее пела моя красавица мать. Часто, оборвав песню на полуслове, деда схватывала меня на руки и, прижимая тесно-тесно к своей худенькой груди, лепетала сквозь смех и слезы:

– Нина, джаным⁴, любишь ли ты меня?

О, как я любила, как я ее любила, мою ненаглядную деду!.. Когда я становилась рассудительнее, меня все больше и больше поражала печаль ее прекрасных глаз и тоскливых напевов. Как-то раз, лежа в своей постельке с закрытыми от подступившей дремоты глазками, я невольно услышала разговор мамы с отцом.

Она смотрела вдаль, на вьющуюся черной змееобразной лентой тропинку, убегающую в горы, и тоскливо шептала:

– Нет, сердце мое, не утешай меня, он не придет!

– Успокойся, моя дорогая, он опоздал сегодня, но он будет у нас, непременно будет, – успокаивал ее отец.

– Нет, нет, Георгий, не утешай меня... Мулла⁵ его не пустит...

Я поняла, что мои родители говорили о деде Хаджи-Магомете, все еще не желавшем простить свою христианку дочь.

³ Дедá – «мать» по-грузински. (Здесь и далее примеч. авт.)

⁴ Джаным – по-татарски «душа», «душенька» – самая употребительная ласка на Востоке.

⁵ Мулла – служитель религиозного культа у мусульман (ар.).

Иногда дед приезжал к нам. Он появлялся всегда внезапно со стороны гор, худой и выносливый, на своем крепком, словно из бронзы вылитом, коне, проведя несколько суток в седле и нисколько не утомляясь длинной дорогой. Лишь только высокая фигура всадника показывалась вдали, моя мать, оповещенная прислугой, сбегала с кровли, где мы проводили большую часть нашего времени (привычка, занесенная ею из родительского дома), и спешила встретить его за оградой сада, чтобы, по восточному обычаю, поддержать ему стремя, пока он сходил с коня.

Наш денщик, старый грузин Михако, принимал лошадь деда, а старик Магомет, едва кивнув головой моей матери, брал меня на руки и нес в дом.

Меня дедушка Магомет любил исключительно. Я его тоже любила и, несмотря на его суровый и строгий вид, ничуть его не боялась...

Лишь только, поздоровавшись с моим отцом, он усаживался с ногами, по восточному обычаю, на пестрой тахте, я вскакивала к нему на колени и, смеясь, рылась в карманах его бешмета⁶, где всегда находились для меня разные вкусные лакомства, привезенные из аула. Чего тут только не было: и засахаренный миндаль, и кишмиш, и несколько приторные медовые лепешки, мастерски приготовленные хорошенькой Бэллой – младшей сестренкой моей матери.

– Кушай, джаным, кушай, моя горная ласточка, – говорил он, приглаживая жесткой и худой рукой мои черные кудри.

И я не заставляла себя долго просить и наедалась до отвала этих легких и вкусных, словно таявших во рту лакомств. Потом, покончив с ними и все еще не сходя с колен деда, я прислушивалась внимательным и жадным ухом к тому, что он говорил с моим отцом. А говорил он много и долго... Говорил все об одном и том же: о том, как упрекает и стыдит его при каждой встрече старик мулла за то, что он отдал свою дочь урус⁷, что допустил ее отречься от веры Аллаха и спокойно пережил ее поступок. Отец, слушая деда, крутил только свой длинный черный ус да хмурил тонкие брови.

– Слушай, кунак⁸ Магомет, – вырвалось у него в одну из таких бесед, – тебе нечего беспокоиться за твою дочь: она счастлива, ей хорошо здесь, наша вера стала ей родной и близкой. Да и поправить сделанного нельзя... Не беспокой же ты даром мою княгиню. Видит Бог, она не переставала быть тебе покорной дочерью. Передай это своему мулле, и пусть он поменьше заботится о нас да поусерднее молится Аллаху.

Боже мой, как вспыхнуло от этих слов лицо деда!.. Он вскочил с тахты... Глаза его метали молнии... Он поднял загоревшийся взор на отца – взор, в котором сказалась вся полудикая натура кавказского горца, и заговорил быстро и грозно, мешая русские, татарские и грузинские слова:

– Кунак Георгий... ты урус, ты христианин и не поймешь ни нашей веры, ни нашего Аллаха и его Пророка... Ты взял жену из нашего аула, не спросясь желания ее отца... Аллах наказывает детей за непокорность родителям... Марием знала это и все же пренебрегла верою отцов и стала твоею женою... Мулла прав, не давая ей своего благословения... Аллах вещает его устами, и люди должны внимать воле Аллаха...

Он говорил еще долго-долго, не подозревая, что каждое его слово прочно западает в юную головку прижавшейся в уголок тахты маленькой девочки.

А моя бедная деда слушала сурового старика, дрожа всем телом и бросая на моего отца умоляющие взоры. Он не вынес этого немого укора, крепко обнял ее и, передернув плечами,

⁶ *Бешмёт* – род кафтана, обшитого галуном.

⁷ Горцы называли христиан урусами.

⁸ *Кунак* – гость, побратим. Куначество – распространенный на Северном Кавказе обычай, по которому мужчины, принадлежащие к разным родам, племенам или народностям, вступают в дружеские отношения или оказывают друг другу помощь.

вышел из дому... Через несколько минут я видела, как он скакал по тропинке в горы. Я смотрела на удаляющуюся фигуру отца, на стройный силуэт коня и всадника, и вдруг точно что-то толкнуло меня к Хаджи-Магомету.

– Деда! – неожиданно прозвучал среди наступившей тишины мой детский звонкий голос. – Ты злой, деда, я не буду любить тебя, если ты не простишь маму и будешь обижать папу. Возьми назад твой кишмиш и твои лепешки; я не хочу их брать от тебя, если ты не будешь таким же добрым, как папа!

И, не долго думая, я быстро вывернула карманы, куда набрала привезенные дедом лакомства, и выбросила все их содержимое на колени изумленного старика. Моя мать, прижавшись в угол комнаты, делала мне отчаянные знаки, но я не обращала на них внимания.

– На, на! И свой кишмиш бери, и лепешки бери, и армянские пряники... ничего, ничего не хочу от тебя, злой, недобрый.

– Деда! – твердила я, вся дрожа как в лихорадке, продолжая выкидывать из карманов привезенные им лакомства.

– Кто учит ребенка непочтению к старости? – загремел на весь дом голос Хаджи-Магомета.

– Никто не учит меня, деда! – смело крикнула я. – Моя мама, хоть не молится на восток, как ты и Бэлла, но она любит вас, и аул твой она любит, и горы, и скучает без тебя, и молится Богу, когда ты долго не едешь, и ждет тебя на кровле... Ах, деда, деда, ты и не знаешь, как она тебя любит!

Что-то необъяснимое при этих словах промелькнуло в лице старика. Орлиный взор его упал на маму. Вероятно, много муки и любви прочел он в глубине ее черных кротких глаз, – только его собственные глаза заблестели ярко-ярко и словно задернулись набежавшей в них влагой.

– Правда ли, джаным? – скорее прошептал, нежели спросил, Хаджи-Магомет.

– О батоно⁹! – стоном вырвалось из груди моей матери, и, подавшись вперед всем своим гибким и стройным станом, она упала к ногам деда, тихо всхлипывая и лепеча одно только слово, в котором выражалась вся ее беспредельная любовь к нему: – О батоно, батоно!

Он схватил ее, поднял и прижал к своей груди.

Я не помню, что было дальше... Я понеслась, как бешеная горная лошадка, по тенистым аллеям нашего сада, будучи не в силах удержать порыв восторженного счастья, захватившего могучей волной мое детское сердечко...

Я носилась, задыхаясь, плача и смеясь в одно и то же время... Я была счастлива, как никогда, острым, захватывающим, почти невыносимым порывом счастья...

Когда, несколько успокоенная, я вернулась в комнату, то увидела мою мать, сидящую у ног деда... Его рука лежала на ее чернокудрой голове, и в глазах обоих сияла радость.

Отец, вернувшийся во время моей бешеной скачки по саду, подхватил меня на руки и покрыл мое лицо десятком самых горячих и нежных поцелуев... Он был так счастлив за маму, мой гордый и чудный отец!

Это был лучший день в моей жизни. Это было первое настоящее, сознательное счастье, и я наслаждалась им всем моим юным сердечком...

Вечером у моей постельки они собрались все трое – отец, мать, дед, и я, смеясь сквозь дымку дремоты, соединяла их большие руки в моих крошечных кулаках и заснула под тихий шепот их ласкового говора...

Новая, чудесная, мирная жизнь воцарилась под нашей кровлей. Дед Магомет чаще приезжал из аула, один или с Бэллой, моей молоденькой теткой, участницей моих детских игр и проказ.

⁹ *Батоно* – «господин» по-грузински; это слово прибавляют для почтительности.

Но наше счастье длилось недолго. Прошло всего несколько месяцев после того блаженного дня, как вдруг моя бедная дорогая мама тяжело заболела и скончалась. Говорят, она зачахла от тоски по родному аулу, который не могла навещать, боясь оскорблений со стороны фанатиков татар и непримиримого врага ее, старого муллы.

Весь Гори оплакивал маму... Полк отца, знавший ее и горячо любивший, рыдал, как один человек, провожая ее худенькое тельце, засыпанное дождем роз и магнолий, на грузинское кладбище, разбитое поблизости Гори.

Мне не верилось до последней минуты, что она умирала.

Перед смертью она не сходила с кровли дома, откуда любовалась синеющими вдали горами и серебристо-зеленой лентой Куры.

– Там Дагестан... там аул... там мои горы... Там отец и Бэлла... – шептала она между приступами кашля и указывала вдаль, по направлению северо-востока, крошечной, почти детской, вследствие поразительной худобы, рукой.

И вся она, укутанная белой буркой¹⁰, казалась нежным, прозрачным ангелом восточного неба.

Я помню с мучительной ясностью вечер, когда она умирала.

Тахту, на которой она лежала, подняли на кровлю, чтобы она могла полюбоваться горами и небом...

Гори засыпал, обвеянный крылом благоуханной восточной ночи... Спали розы на садовых кустах, спали соловьи в чинаровых рощах, спали руины таинственной крепости, спала Кура в своих изумрудных берегах, и только несчастье одно не спало, одна смерть бодрствовала, поджидая жертву.

Мама лежала с открытыми глазами, странно блестящими среди наступающей темноты... Точно какой-то свет исходил из этих глаз и освещал все ее лицо, обращенное к небу. Лучи месяца золотыми иглами скользили по густым волнам ее черных кос и венчали блестящей короной ее матово-белый лоб.

Отец и я притихли у ее ног, боясь нарушить покой умирающей, но она сама поманила нас трепещущей рукой и, когда мы склонились к ее лицу, заговорила быстро, но тихо-тихо, чуть внятно:

– Я умираю... да, это так... я умираю... но мне не горько, не страшно... Я счастлива... я счастлива тем, что умираю христианкой... О, как хороша она – твоя вера, Георгий, – прибавила она, повернувшись в сторону моего отца, припавшего к ее изголовью, – и я удостоилась ее... Я христианка... я иду к моему Богу... Единственному и великому... Не плачь, Георгий, береги Нину... Я буду смотреть на вас... буду любоваться вами... а потом... не скоро, да, но все же мы соединимся... Не плачьте... прощайте... до свиданья... Как жаль, что нет отца... Бэллы... Передайте им, что я их люблю... и прощаюсь с ними... Прощай и ты, Георгий, моя радость, спасибо тебе за счастье, которым ты подарил меня... Прощай, свет очей моих... Прощай, моя джаным... моя Нина... моя малюточка... Прощайте оба...

Начинался бред... Потом она уснула... чтобы никогда больше не просыпаться. Она умерла тихо, так тихо, что никто не заметил ее кончины...

Я задремала, прикорнув щекою к ее худенькой руке, и проснулась под утро от ощущения холода на моем лице. Рука мамы сделалась синей и холодной, как мрамор... А у ног ее бился, рыдая, мой бедный осиротевший отец.

Гори просыпался... Лучи восхода осветили печальную картину. Я не могла плакать, хотя ясно сознавала случившееся. Точно ледяные оковы сковали мое сердце...

А внизу, по берегу Куры, скакал всадник. Он, видимо, торопился в Гори и безжалостно горячил коня.

¹⁰ Бурка – войлочный плащ-накидка у народов Кавказа.

Вот он близко... близко... Я узнала в нем деда Магомета...

Еще немного – и всадник пропал под горою. Внизу хлопнула калитка... Кто-то юношески быстро пробежал лестницу, и в ту же минуту Хаджи-Магомет вошел на кровлю.

Трудно передать тот вопль отчаяния и бессильного, почти нечеловеческого горя, который вырвался из груди несчастного отца при виде тела дочери.

Страшен был крик деда Магомета... Он потряс, казалось, не только кровлю нашего дома, но и весь Гори, и диким эхом раскатился в горах, по ту сторону Куры. Вслед за первым воплем раздался второй и третий... Потом дед внезапно затих и, упав на пол, лежал без движения, широко разметав свои сильные руки.

Теперь только поняла я, как бесконечно дорога была моя мать этому полудикому питомцу горных аулов... Вряд ли подозревала она когда-нибудь о силе этой молчаливой отцовской привязанности, вряд ли понимала она своего сурового фанатика отца! Если бы она могла это чувствовать на своем смертном ложе, каким счастьем озарилось бы ее прекрасное лицо!

Но – уввы! – ни понимать, ни чувствовать она уже не могла. Перед нами был труп, едва начинающий стынуть, труп той, которая еще так недавно пела свои чудесные песни, полные восточной грусти, и смеялась тихим печальным смехом. Только труп...

Она умерла – моя красавица деда! Черная роза обрела свою родину... Ее душа возвратилась в горы...

Глава 2

Бабушка. Отец. Последний отпрыск славного рода

Деды не стало... На горийском кладбище прибавилась еще одна могила... Под кипарисовым крестом, у корней громадной чинары, спала моя деда! В доме наступила тишина, зловещая и жуткая. Отец заперся в своей комнате и не выходил оттуда. Дед ускакал в горы... Я бродила по тенистым аллеям нашего сада, вдыхала аромат пурпуровых бархатистых розанов и думала о моей матери, улетевшей в небо... Михако пробовал меня развлечь... Он принес откуда-то орленка со сломанным крылом и поминутно обращал на него мое внимание:

– Княжна, матушка, глянь-ка, пищит!

Орленок действительно пищал, изнывая в неволе, и своим писком еще более растревлял мое сердце. «Вот и у него нет матери, – думалось мне, – и он как я!» И мне становилось нестерпимо грустно.

– Михако, голубчик, отнеси орленка в горы, может быть, он найдет свою деду, – упрашивала я старого казака, в то время как сердце мое разрывалось от тоски и жалости.

Наконец отец вышел из своей комнаты. Он был бледен и худ, так худ, что военный длиннополый бешмет висел на нем, как на вешалке.

Увидя меня, с печальным лицом бродившую по чинаровой аллее, он подозвал меня к себе, прижал к груди и шепнул тихо-тихо:

– Нина, чеми патара сакварело¹¹!

Голос у него был полон слез, как у покойной деды, когда она пела свои печальные горные песни.

– Сакварело, – прошептал еще раз отец и покрыв мое лицо поцелуями. В тяжелые минуты он всегда говорил по-грузински, хотя всю свою жизнь находился между русскими.

– Папа, милый, бесценный папа! – ответила я ему и в первый раз со дня кончины мамы тяжело и горько разрыдалась.

¹¹ *Чеми патара сакварело* – моя возлюбленная малютка.

Отец поднял меня на руки и, прижимая к сердцу, говорил мне такие ласковые, такие нежные слова, которыми умеет только дарить чудесный, природой избалованный Восток!

А кругом нас шелестели чинары, и соловей начинал свою песню в каштановой роще за горийским кладбищем.

Я ласкалась к отцу, и сердце мое уже не разрывалось тоскою по покойной маме – оно было полно тихой грусти... Я плакала, но уже не острыми и больными слезами, а какими-то тоскливыми и сладкими, облегчающими мою наболевшую детскую душу...

Потом отец кликнул Михако и велел седлать своего Шалого. Я боялась поверить своему счастью: моя заветная мечта побывать с отцом в горах осуществлялась!

Это была чудная ночь!



Мы ехали с ним, тесно прижавшись друг к другу, в одном седле на спине самой быстрой и нервной лошади в Гори, понимавшей своего господина по одному слабому движению поводка...

Вдали высокими синими силуэтами виднелись мохнатые горы, внизу бежала засыпающая Кура... Из дальних ущелий поднималась седая дымка тумана, и точно вся природа курила нежный фимиам¹² подкрадывавшейся ночи.

– Отец! Как хорошо все это! – воскликнула я, заглядывая ему в глаза.

– Хорошо, – тихим, точно чужим, голосом ответил он.

И, взглядевшись пристальнее в его черные, ярко горящие зрачки, я заметила в них две крупные слезы. Должно быть, он вспомнил деду.

– Папа, – тихо произнесла я, как бы боясь нарушить чарующее впечатление ночи, – мы часто будем так ездить с тобою?

– Часто, голубка, часто, моя крошка, – поторопился он ответить и отвернулся от меня, чтобы смахнуть непрошеные слезы.

В первый раз со дня кончины мамы я почувствовала себя снова счастливой. Мы ехали по тропинке, между рядами невысоких гор, в тихой долине Куры... А по берегам реки вырастали по временам в сгущающихся сумерках развалины замков и башен, носивших в себе печать давних и грозных времен.

Но ничего страшного не было теперь в этих полуразрушенных бойницах, откуда давно-давно высовывались медные тела огнедышащих орудий. Глядя на них, я слушала рассказ отца о печальных временах, когда Грузия стонала под игом турок и персов... Что-то билось и kloкотало в моей груди... Мне хотелось подвигов – таких подвигов, от которых ахнули бы самые смелые джигиты Закавказья...

Мы только к рассвету вернулись домой... Восходящее солнце заливало бледным пурпуром отдаленные высоты, и они купались в этом розовом море самых нежнейших оттенков. С соседней крыши минарета¹³ мулла кричал свою утреннюю молитву... Полусонную снял меня с седла Михако и отнес к Барбале – старой грузинке, жившей в доме отца уже много лет.

Этой ночи я никогда не забуду... После нее я еще горячее привязалась к моему отцу, которого до сих пор немного чуждалась...

Теперь я ежедневно стерегла его возвращение из станицы, где стоял его полк. Он слезал с Шалого и сажал меня в седло... Сначала шагом, потом все быстрее и быстрее шла подо мною лошадь, изредка потряхивая гривой и поворачивая голову назад, как бы спрашивая шедшего за нами отца, как ей вести себя с крошечной всадницей, вцепившейся ей в гриву.

Но какова была моя радость, когда однажды я получила Шалого в мое постоянное владение! Я едва верила моему счастью... Я целовала умную морду лошади, смотрела в ее карие выразительные глаза, называла самыми ласковыми именами, на которые так щедра моя поэтичная родина...

И Шалый, казалось, понимал меня... Он скалил зубы, как бы улыбаясь, и тихо, ласково ржал.

С получением от отца этого неоценимого подарка для меня началась новая жизнь, полная своеобразной прелести.

Каждое утро я совершала небольшие прогулки в окрестностях Гори то горными тропинками, то низменным берегом Куры... Часто я проезжала городским базаром, гордо восседающая на коне, в моем алом атласном бешмете, в белой папахе, лихо заломленной на затылок, похожая скорее на маленького джигита, нежели на княжну славного аристократического рода.

И торгаши-армяне, и хорошенькие грузинки, и маленькие татарчата – все смотрели на меня разиня рот, удивляясь моему бесстрашию.

¹² *Кури́ть фими́ам* – чрезмерно восхвалять кого-либо. Фими́ам – благовонное вещество, сжигаемое при богослужениях (гр.).

¹³ *Минаре́т* – башня для призыва мусульман на молитву (от ар. «манара»).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.